



Виктор Смирнов

*Историческая приключенческая
новель-сказка*

Пошаённое братство

Смирнов Виктор

Потаённое братство

<https://litres.ru/74251178>

SelfPub; 2026

Аннотация

Русь под игом Орды. Мальчишка Варфоломей — тот, кого мы знаем как Сергия Радонежского, — растёт в глухой деревне и однажды уходит один, за три моря, в Поднебесное царство, к обители у Небесной горы — искать то, чего не может дать родная сторона. Возвращается он другим человеком.

Дома он встречает Радомира и передаёт ему то, чему научился сам. Так вокруг них двоих понемногу собирается то, о чём говорят только шёпотом: потаённое братство — те, кто появляется ниоткуда, когда беда стучится в дом, и исчезает, не дожидаясь благодарности. Потаённое братство готовит мятеж против власти татарского Ига.

Русь встанет против Орды на поле у тихого Дона — где инок Пересвет выйдет на поединок против Челубея,

Дружба, тайны и поединки — историко-приключенческая повесть-сказка для семейного чтения и для читателей 12–16 лет.

Содержание

Глава	4
Глава первая	6
Глава вторая	12
Глава третья	17
Глава четвёртая	22
Глава пятая	29
Глава шестая	36
Глава седьмая	45
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Смирнов Виктор

Потаённое братство

Глава

Виктор Смирнов

ПОТАЁННОЕ БРАТСТВО

*Историко-приключенческая повесть-сказка
о Сергии Радонежском и Куликовом поле*



ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПОТАЁННОЕ БРАТСТВО 3

Глава первая. КОГО НЕЧИСТЫЙ ПРИНЁС? 4

Глава вторая. КРАСНОЕ УТРО 7

Глава третья. СЕЧА У ОЗЕРА 10

Глава четвёртая. ДВЕ СИРОТЫ 13

Глава пятая. ЧЁРНАЯ РИЗА 17

Глава шестая. СТРЕЛА 21

Глава седьмая. КНЯЗЬ ПРИХОДИТ К СТАРЦУ 25

Глава восьмая. ТРИ ДРУГА И БАСКАКИ 31

Глава девятая. ДОВОЛЬНО ИГА 36

Глава десятая. НАУКА ОДОЛЕНИЯ 39

Глава одиннадцатая. СТОРОЖА	42
Глава двенадцатая. ПРОЩАЛЬНЫЙ ХОРОВОД	45
Глава тринадцатая. СТРОЕМ НА ДОН	48
Глава четырнадцатая. ПЕРЕСВЕТ И ЧЕЛУБЕЙ	51
Глава пятнадцатая. ЗАПАДНЯ	56
Эпилог. ПОСЛЕ ГРОЗЫ — СВЕТ	60

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗА ТРИ МОРЯ 63

Сказ первый. ОТРОК И СТРАННИК	64
Сказ второй. ОБОЗ ИДЁТ НА ПОЛДЕНЬ	68
Сказ третий. ГОРОД ТЫСЯЧИ ОГНЕЙ	72
Сказ четвёртый. ТРИ МОРЯ	81
Сказ пятый. ОБИТЕЛЬ У НЕБЕСНОЙ ГОРЫ	89
Сказ шестой, последний. ВОЗВРАЩЕНИЕ МАСТЕРА	99

СЛОВАРЬ СТАРИННЫХ СЛОВ 112

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПОТАЁННОЕ БРАТСТВО

Глава первая

КОГО НЕЧИСТЫЙ ПРИНЁС?

Темень стояла такая, какая бывает только в конце лета, в безлунную ночь: наверху — всё небо в звёздах, а внизу, на земле, — хоть глаз выколи. Ни огонька вокруг, ни отсвета.

Звёзды в ту ночь высыпали все, сколько их есть, — крупные, спелые, августовские: иная горит и переливается, как роса на острие колоса, иная сорвётся вдруг — и чиркнет наискось через полнеба. А под звёздами, невидимая, дышала тёплая земля: за день надышалась она зноем досыта и теперь отдавала тепло помалу назад — небу, травам, спелым хлебам. И пахла ночь так, как пахнет она только раз в году, в самую страдную пору: сухим колосом, мёдом отцветающих трав, тёплой дорожной пылью и дальней свежестью воды — не надышишься.

И не молчала ночь — ночь пела. В сочных травах на тысячу голосов звенела саранча, и звон её был так ровен, так вечен, что ухо переставало его слышать, как перестаёт человек слышать собственное сердце. Ухнул филин в дальнем бору — и стих, и от его уханья тишина сделалась только глубже. Прошуршала мышь в соломе — и замерла. Плеснула рыба в невидимой воде — и снова гладь. Спало всё: и вода, и травы, и птицы в гнёздах, и ветер спал, свернувшись где-то в лощине. Одна ночь не спала — стояла над миром, сторожила его

сон да пересыпала из ладони в ладонь свои звёзды.

Тук.

Стук был негромкий, осторожный — косточкой по дереву. И, чуть погодя, ещё: тук-тук.

И тогда из самой черноты отозвался голос — сонный, ворчливый; да не со зла ворчливый, а по-дедовски: так ворчит старик, которого подняли с тёплой лавки, — сердится, а сам уже жалеет того, кто в такую пору под окном стоит:

— Кого нечистый принёс?

И тотчас ответил из тьмы другой голос — мирный, вполголоса, чтобы спящих не будить:

— Не поминай нечистого на ночь, хозяин, — не к нам он. Паломники мы, к святым местам идём. Пусти, Бога ради, переночевать: издалека бредём, подустали. Ничего, кроме ночлега, не спросим — свой хлеб едим — и с тобой разделим за доброту твою.

Голос был немолодой и ровный, будто мельничный жёрнов на малом ходу: слово к слову ложится, не спешит и не спотыкается. Худые люди ночью так не говорят: худой человек либо шёпотом сипит, либо горло дерёт. А этот говорил, как хлеб резал.

В темноте скрипнули половицы, глухо стукнули об пол босые ноги: дед Матвей — его это голос спрашивал про нечистого — кряхтя поднялся с лавки. Старику в своей избе и темень не помеха: прошёл, нигде не задев, нашарил у печи лучину, дунул на уголёк в горнушке — уголёк ожил, затеп-

лился, — и по стенам качнулся первый алый свет.

Проступила из тьмы изба: длинные лавки вдоль стен, выскобленный добела стол, тёмный лик образа в красном углу, пучки сухих трав под потолком, тёплый бок печи. Проступил и сам хозяин — маленький, сухонький, борода серебряным веником, а глаза из-под косматых бровей — как две искорки от той же лучины. Он оправил рубаху и отодвинул засов:

— Располагайтесь с миром. Все спят у меня. Двери в этом доме всем добрым людям открыты.

— Ну и мы ляжем, не обременим, — ответили с крыльца.
— Спокойной ночи тебе, хозяин, и дому твоему.

И вошли.

А стояла та изба крайней в деревне, на высоком холме над озером, — только не видать было в безлунье ни холма, ни озера: лежала внизу вода чёрным зеркалом и тихо перебирала в себе звёзды. Спало в деревне всё крепким хлебным сном: рожь кругом дозрела, наливная, усатая, на завтра всем миром собирались зажинать. И вот ведь чудное дело: ночных гостей не услышала ни одна живая душа — ни одна собака на всей улице не взлаяла. Это отчего же? Собаки в Заозерье строгие, чужого за версту чувят — а тут смолчали все до единой. И дедов пёс Полкан в сенях — вот диво — не забрежал: заворчал было спросонья, поднял ухо, а потом вдруг застучал хвостом по полу, будто свои пришли.

Алексашка, дедов внук, от стука проснулся. Проснулся — и лежал теперь на печи тихо-тихо, не дыша, а сам весь, с

макушки до пяток, обратился в одно большое ухо да в два сорочьих глаза — вострых, цепких: что схватят, того уж не выпустят.

Вошло гостей семеро, и все — в чёрном. В долгих, до самых пят, тёмных одеяниях, каких в Заозерье не нашивали: не кафтан, не зипун, не свитка — а будто сама ночь наброшена на плечи да перехвачена у пояса простым вервием. На головах — глубокие дорожные башлыки; лиц под ними не видать, одни бороды. За плечами — скатки, в руках — посохи: у иных простые, а у двоих — длинные, в полный рост, тёмного дерева, отполированные ладонями до тихого блеска.

Но чуднее одёжи было другое: как они шли. Семь взрослых мужиков вошли в избу — а изба того и не заметила. Ни одна половица не скрипнула, ни одна лавка не охнула, ни один посох не стукнул об пол. Только огонёк лучины качнулся семь раз — посчитал гостей — и успокоился.

Первым вошёл тот, с жёрновым голосом, — и откинул башлык. Был он сед как лунь, борода надвое, плечи широкие, дорожной пылью припорошенные; а красному углу поклонился низко и легко, по-молодому. За ним кланялись и остальные — народ всё больше крепкий, кряжистый, с тяжёлыми работными руками. Расстелили свои скатки по полу рядком, у стола и вдоль лавок, — и легли тихо, как вода в берега.

А последним вошёл молодой.

Этот был не как все: худой, ростом невелик, из себя нека-

зист — в толпе встретишь, не оглянешься. Он на пороге приостановился, чуть повернул голову — и постоял так, к ночи прислушиваясь, будто ночь ему что-то договаривала, а он дослушивал. Потом затворил дверь — беззвучно, как дыхание, — поклонился красному углу и лёг у самого порога, где сквозит и дует, где никто по доброй воле не ложится. Посох положил рядом, по правую руку.

И тут, при догорающей лучине, углядел Алексашка на том посохе, у самой рукояти, резаный знак: волну. Не крест, не птицу, не зверя лесного — волну, воду бегучую, три гребешка. Углядел — и запомнил: сорочий глаз, он такой.

А ещё — один из гостей, укладываясь, повернулся на бок, и под чёрным его одеянием глухо, коротко звякнуло. Дзынь — и смолкло, будто ладонью прижали.

Алексашка знал, как что звенит, — по этой части он был в Заозерье первый человек. Котелок о ложку звенит весело. Крест нательный о пуговицу — тоненько. Дедова коса в сенях, если задеть, — длинно и жалобно. А вот так — глухо, тяжело, кольцо о кольцо — звенит одна-единственная вещь на свете. Такая у старосты в клети висит, от прадеда осталась: рубаха железная, кольчатая. Староста её по большим праздникам смотреть даёт, а трогать не даёт никому.

«Кольчуга? — подумал Алексашка, и сон с него слетел весь, до самого донышка. — У паломников?!»

«Може, почудилось», — уговаривал себя Алексашка, зарываясь в дедов тулуп.

Он слушал, слушал — аж уши горели. Да только ничего больше не было слышно: гости дышали ровно, тихо, в семь дыханий, как один большой спящий зверь; сверчок за печью допиливал свою песенку; за стеной, в сочных травах, сыпала звоном ночная саранча.

И мысли его, устав бояться, поплыли сами — туда, где полегче: во вчерашний день. Как Санька, сосед через улицу, выволок из озера сома в полруки, а сказал — в руку, и вся деревня поверила, потому что Саньке верят всегда, такой уж он человек. Как Санькин братишка Андрейка сложил про того сома песню, да такую складную, что к вечеру пела её вся деревня, и сом в песне вырос с телёнка. А завтра — нет, уже нынче — его, Алексашку, впервой берут в поле со взрослыми, не колоски подбирать, а к самой жатве... Жатва, сом, песня... песня, сом... И плыл уже перед сонными глазами тот сом по чёрному ночному озеру, и была на соме — вот чудо-то — железная кольчатая рубаха, и звенела она тихонько: дзынь... дзынь...

Дед Матвей дунул на лучину.

И изба утонула во тьме — разом, вся, как камешек в омуте.

Глава вторая

КРАСНОЕ УТРО

Проснулся Алексашка ещё затемно — на этот раз не от стука, а по самой простой надобности: пить захотелось. Всегда у него так: днём ведро выпьешь — и не заметишь, а ночью за глотком через всю избу идти.

В избе стояла та же темень, только теперь обжитая, тёплая: дышали в семь дыханий гости, допиливал своё сверчок. Алексашка сполз с печи тихонько, переступил через спящих — семь раз сердце в пятки сходило и обратно возвращалось — и выбрался в сени, где в углу стояла дубовая кадка с водой и висел на гвозде ковшик.

У кадки сидел молодой.

Сидел на чурбачке, не спал — а просто смотрел в воду. В волоковое оконце сочился первый серый свет, какого и светом-то не назовёшь, и вода в кадке чуть отсвечивала, как оловянное блюдо. Молодой глядел в неё так, как дед на дорожку глядит, когда обоз с ярмарки ждёт: спокойно, а неотрывно.

— Пей, не бойся, — сказал он, не оборачиваясь, и голос у него был тихий-тихий, а слышный весь, до последней буковки. — Вода добрая.

Алексашка снял ковшик, зачерпнул, выпил. Осмелел.

— А ты чего ж не спишь, дяденька? Стережёшь чего?

— Слушаю, — сказал молодой.

— А чего слушать-то? Тихо ж.

— Тихо, — согласился тот и качнул головой на кадку. —

Вишь, вода какая: ни морщинки. Стало быть, ночь добрая. Ступай спи, малый, покуда вода спит.

— А коли... — Алексашка запнулся, да сорочий язык сам дошёл: — а коли проснётся она — тогда что?

Молодой впервой повернул к нему лицо. Молодое было лицо, худое, а глаза — серые, тихие, как та самая вода: глядят — будто слушают.

— А тогда, малый, держись за меня. Не заплутаешь.

И столько в тех словах было спокойствия, что Алексашка разом успокоился и сам — как в тулуп завернули. Влез обратно на печь, зарылся в дедово тепло — и досмотрел свой сомий сон до самого хвоста.

А ночь тем часом доживала последнее. Сперва посерело небо на восходе, и звёзды стали гаснуть — по одной, как гасят в большом доме свечи; потом за озером, за дальним лесом, занялась полоса — узкая, алая. Ещё не рассвело; ещё и первые петухи не пропели своего первого слова; ещё спала деревня вся, от края до края, самым крепким, самым сладким предутренним сном — ни огонька в оконцах, ни дымка над крышами. Но мир уже знал, что идёт утро.

Первыми, как всегда, проснулись птицы. Пискнула спр-сонья в ветлах одна пичуга — неуверенно, вполголоса, будто спрашивала: пора ли? Ей отозвалась другая, третья — и

пошло перекликаться по кустам вдоль озера. Смолкала помалу ночная саранча — сдавала свой пост дневным кузне-
чикам; прогудела над травами первая пчела, тяжёлая, деловитая, — проплыла по воздуху не спеша и опустилась в цвет-
ток, раскрывшийся навстречу солнцу. Озеро из чёрного сде-
делалось сизым, задышало лёгким парком, и поплыл над луга-
ми последний ночной туман — редел, таял, доживал своё. Рожь стояла стеной, спелая, усатая, и от предрассветного ве-
терка вздохнула вся разом — проснулась и она.

И только блеснул из-за края земли первый солнечный луч — тонкий, как золотая нить, — первой поймала его паутин-
ка, натянутая меж двух колосьев: дрогнула, вспыхнула вся разом, от колоса до колоса, и засветилась, будто серебряная ниточка, протянутая с неба на землю, — по такой бы, кажет-
ся, и ангел сошёл. И покатила по лугам светлая волна — от края земли до самого озера, быстрее птицы, тише дыха-
ния: капля за каплей занималась, вспыхивала — и засверка-
ли по травам тысячи, тысячи капелек солнца, будто все ноч-
ные звёзды упали в траву — и горят. Сквозь редкий дота-
ивающий туман, что плыл над лугами последним серебри-
стым дымом, дрожали они от всякого, самого малого дыха-
ния воздуха, и переливалась каждая по-своему, ни одна не повторяя соседку; пахло росною свежестью, отсыревшим за ночь колосом да тем ранним светом, у которого, може, и за-
паха нет — а всё одно пахнет. И в каждой капельке умеща-
лось целое небо с зарёй.

А из-под подорожника выполз на обочину жук — тёмный, литой, в надкрыльях, начищенных, как воеводина бронь: встречать огромный сверкающий шар, что подымался над краем земли. Выполз, расправил усы и замер от важности: може, думал жук, для него одного тот шар и подымается.

Конское копыто вдавило его в землю — вместе с подорожником.

Шли по ржи кони — много коней. Шли не дорогой, а прямо хлебом, и спелая рожь ложилась под копыта, не охнув, целыми полосами. Всадники сидели в сёдлах литые, тяжкие: кольчатое железо на плечах, варёная кожа да бляхи, кривые клинки у бедра. За плечами — луки, колчаны полны, да не простыми стрелами: у иных наконечники обмотаны были чёрной просмоленной паклей. Ехали молча. Ни песни, ни говора, ни трубы — только сбруя позвякивала, скрипела кожа да гудела земля, принимая тяжесть. Такие гости всегда едут об эту пору — в самый глухой, самый сонный час, когда ночь уже кончилась, а день ещё не начался: чтобы поспеть до первых петухов.

Впереди, на широкогрудом гнедом, ехал сотник — жилистый, быстроглазый; глаза у него были жёлтые, волчьи, а через бровь шёл белый рваный рубец. С бугра он первым увидел деревню на холме — сонную, тихую: ни огонька, ни дыма, ни сторожа у околицы — и усмехнулся одними зубами.

А в сенях крайней избы, в дубовой кадке, дрогнула вода. Дрогнула — и пошла от середины к краям мелкой рябью,

кругами: круг, ещё круг, — и тихо тукнула в дубовую клёпку: тук. И ещё: тук-тук. Совсем как давешний ночной стук — только теперь стучалась в дом сама земля.

Молодой гость открыл глаза прежде, чем первый круг дошёл до края.

Миг — и он стоял на ногах, с посохом в правой руке; а следом, разом, без единого слова, как один человек, поднялись и все семеро. Никто не спросил, что стряслось: видать, они и во сне знали то же, что знала вода.

— Вставайте, братия! — сказал молодой, и тихий его голос заполнил избу до самой матицы. — Земля стонет: вороги идут. Молись да за меч берись — иные молитвы железом читаются!

А с печи глядел на них во все сорочьи глаза Алексашка — и увидал, как семь чёрных одеяний распахнулись разом и как лёг алый утренний свет на кольчатое железо. Не почудилось, стало быть, ночью.

А вода в кадке уже не дрожала — билась о края, расплёскиваясь, как малое море в бурю.

Вода проснулась.

Глава третья

СЕЧА У ОЗЕРА

Тишина над деревней стояла ещё целая — да уже другая: не сонная, а натянутая, как тетива перед спуском.

Семеро в чёрном вышли из дедовой избы в серый рассветный свет — и разошлись по улице бесшумно, как ночью входили: по два двора на брата.

И пошёл по деревне стук. Тук. Тук-тук. В одно окно — и дальше, в следующее. Тем самым стуком, каким сами вчера на ночлег просились, будили теперь чёрные гости деревню:

— Вставайте, люди добрые! Вороги идут! Берите детей — и к озеру, к воде!

Разом взорвались лаем все собаки — все до единой, что смолчали ночью; загорланили петухи — дико, не по-утреннему, поперёк собственной песни; заревела в хлевах скотина. Деревня просыпалась не в день — в беду.

Дед Матвей уже стоял посреди избы — маленький, простоволосый, борода серебряным веником во все стороны, — а в руках его была рогатина, с какой ещё его отец на медведя хаживал. Он сдёрнул внука с печи, сунул ему тулупчик:

— К озеру, милый. Живо.

— А ты, деда?

— А я следом, — сказал дед и не поглядел ему в глаза.

В сенях Алексашку взяла за плечо рука — лёгкая, а не

стряхнёшь. Молодой. Глаза его были те же, тихие, только теперь в них стояло небо с пожаром.

— Помнишь уговор?

— Вода... проснулась? — выговорил Алексашка.

— Проснулась, малый. Держись за меня. Обеими руками держись.

Первая стрела пришла со свистом, какого Алексашка не слышал никогда — тонким, злым, осиным, — и села в соломенную кровлю соседского двора. Огонь на ней не умер в полёте: пополз по соломе, попробовал её на зуб — и пошёл гулять. За первой пала вторая, третья, десятая; небо над улицей запело по-осиному всё гуще, и по сухим кровлям побежали рыжие петухи — те, каких в деревнях боятся пуще волка.

А по спелой ржи, ломая её конскими грудями, уже катилась на деревню чёрная волна — от края поля до самой околицы. И не было в той волне ни песни, ни крика, ни трубы — одна тяжесть.

У околицы встретили её семеро.

Как это было — Алексашка запомнил на всю жизнь, а рассказать после толком не умел: слов таких нет. Молодой шёл сквозь конных, как вода идёт сквозь камни: не спеша будто бы — а всюду поспевал, и нигде его не было там, куда рубили. Посох в его руках был один — а казалось, что их семь: пел в воздухе, встречал клинки, вынимал всадников из сёдел, и кони, ошавев, выносили седоков своих прочь без

спросу. А старший, седой, стоял посреди дороги, как стоит мельничный жёрнов, — неподвижный почти, только руки в работе, — и что на него накатывало, то смалывалось и ложилось в пыль.

Подымалась и деревня. Выбегали мужики — кто с топором, кто с цепом, кто с косой, не докованной до жатвы; вставали рядом с чёрными гостями, и чёрное с белым мешалось в один заслон. Бабы гнали детей задами, огородами, вниз — к озеру: вода добрая, вода укроет. Туман над водой ещё держался, последний, серебристый, — и прятал в себе малых, как наседка цыплят.

Только не все добежали до воды. Осиное пение находило и посреди улицы — и там, где касалось оно бегущих, расцветали по белым рубашам красные маки.

Дед Матвей до озера не пошёл.

Он вывел из горящей соседской избы двух чужих малых — одного на руках, другого за ворот, — передал их с рук на руки чёрному гостю и обернулся в дым за третьим. И тут кровля, вся в рыжих петухах, охнула и села — разом, как садится в омут камешек.

— ДЕДА!!

Алексашка рванулся — и не сошёл с места: рука на плече была лёгкая, а не стряхнёшь. Молодой повернул его к себе и прижал лицом к чёрному своему одеянию, пахнущему дымом и дорогой.

— Не смотри, малый. Запомни его живым.

Прибежал откуда-то Полкан — прижался к Алексашкиной ноге всем телом и дрожал. Так они и стояли втроём один вздох — а больше времени сеча не дала.

Самая злая теснота сошлась у мостков, где сбегались к воде последние бегущие. Туда и повернул старший — и встал на дороге один против всех: пропускал за спину своих, а чужих не пускал. Пока стоял он — не прошёл никто: жёрнов молот ровно, без спешки, как всю жизнь молот. Тогда из-за плетней, не смея ближе, ударили в него стрелы — разом, со всех сторон.

И жёрнов стал.

Молодой поспел к нему прежде, чем старший коснулся земли, — принял на руки, опустил бережно, как сноп кладут. Старший поглядел на него снизу ясно, без боли, и сказал ровно, как хлеб дорезал:

— Тебе вести, брат. Детей сбереги. Остальное — приложится.

И жёрновый голос смолот последнее своё слово — и смолк.

Молодой закрыл ему глаза ладонью, поднялся — и был он с виду всё тот же: худой, невеликий, неказистый. Только конные, что катились на него от околицы, вдруг стали осаживать коней.

А сквозь дым, вдоль горящей улицы, ехал шагом сотник с рваной бровью — и один во всей чёрной туче глядел не на сечу. Сеча его не занимала: на сечу у него были нукеры.

Жёлтые волчьи глаза ходили по дворам — где добро, где скотина, где полон покрепче да помоложе. У соседских ворот — тех самых, где вчера гремели вёдра и пелась на весь двор сомова песня, — он остановил гнедого и спрыгнул наземь, мягко, как спрыгивает кот.

И толкнул дверь.

А над озером, над горящими кровлями, над всею сечей подымался тем часом огромный сверкающий шар — тот самый.

Смотреть на землю ему было больно.

Глава четвёртая

ДВЕ СИРОТЫ

В избе напротив было темно и тихо — так тихо, как бывает только тогда, когда беда уже стоит за стеной и слушает.

Санька стоял посреди этой тишины и держал брата за плечо. За оконцем, за бычьим пузырьём, металось рыжее и чёрное; земля вздрагивала от копыт; где-то у озера пело злое осиное небо. Отец снимал с крюка топор — не спеша снимал, крепко, как перед большой работой. Мать стояла у образа и клала поклоны — быстро-быстро, будто хотела наговориться на всю жизнь вперёд.

— В подпол, — сказал отец, не оборачиваясь. — Оба. Живо.

— Батя...

— В подпол, Санька!

Санька рванул кольцо подпольной крышки — крышку заело: разбухла, сто лет не открывали. Он рвал её так, что побелели пальцы, и Андрейка рвал рядом, — и тут за дверью, у самого крыльца, мягко стукнули оземь две ноги. Так мягко, как спрыгивает кот.

И дверь толкнули.

Что было дальше, Санька видел — и не видел. Глаза его смотрели, а видеть отказывались; уши слышали — а слушать не стали. Запомнилось не всё, а куски, рваные, как во сне: то-

пор отца, коротко блеснувший; мать, вставшую рядом с отцом, плечом к плечу, как в хороводе становилась; кривую саблю, что вошла в избу раньше хозяина; и тишину после — самую страшную тишину на свете, в которой слышно было только, как капает с лавки молоко из опрокинутой кринки.

Потом в этой тишине сказали ласково:

— Волчата.

Сотник с рваной бровью стоял посреди избы и разглядывал их, склонив голову набок. Сабля в его руке была тёмная, и с неё он не спускал глаз... нет — глаз он не спускал с мальчишек, а сабля жила у него в руке сама, как живёт у пса хвост.

— Добрые волчата, — сказал он по-русски, чисто, и оттого ещё страшнее. — На торгу за таких серебром платят. Ну — которого вперёд вязать?

Санька задвинул брата себе за спину, нашарил у печи ухват и выставил его перед собой. Руки ходили ходуном, а ухват — нет: ухват стоял как вкопанный.

— Ого, — сказал сотник и усмехнулся одними зубами. — Этого — вперёд.

Дверь не скрипнула, и половица не охнула. Просто в избе стало на одного больше.

Сотник почуял это спиной — и развернулся весь разом, одним движением, как разворачивается брошенный аркан. У порога стоял молодой — худой, невеликий, с дорожным посохом в опущенной руке. Стоял так, как стоят в очереди

к колодцу: спокойно, никуда не спеша.

— Отойди от детей, — сказал он тихо.

Вместо ответа левая рука сотника метнулась от пояса — и через избу, в горло молодому, пошёл нож. Хорошо пошёл, скрытно, из-под локтя: этим броском сотник валил и не таких. Молодой чуть повёл головой — и снял нож с воздуха, как ягоду с ветки снимают. Поглядел на него, будто спрашивал, не стыдно ли, — и положил на лавку.

И тогда сотник пошёл вперёд — по-настоящему.

Быстрый он был — в этом ему врага искать долго: сабля его умела петь на восемь голосов, и в чистом поле от той песни ложились наземь бывалые ратники. Да только в чистом поле. А тут была изба: низкая матица над головой, лавки по стенам, печь в пол-избы, стол дубовый. Сабля любит простор, размах любит, свист, — а изба ей того не дала. Раз сверкнула она — и врубилась в матицу; два сверкнула — и располовинила пустую кринку; три — и нашла то место, где молодого уже не было.

А посох простор не любил. Посох любил тесноту — и работал в ней коротко, по-плотнички: тук — и выбил у сабли верный угол; тук — и ушла из-под сотника лавка, что он оттолкнулся было; тук — и погасла свеча-лучина у печи, чтобы огонь врагу глаза не грел. Молодой не наступал и не пятился — он был просто всюду, где сабле тесно, и нигде, где ей вольно. Вода, скажет после Алексашка, чистая вода: поди — ударь её.

Сотник понял. Волк был старый, битый — он смахнул со стола кринку молодому под ноги, сам метнулся следом, низом, по-степному, с подрезом, — и на один короткий миг сабля всё-таки достала простор: у самого окна, где изба шире всего.

Только мига того молодому и было надобно.

Посох клюнул — коротко, как дятел клюёт, — в правое плечо, в самый его корень. Хрустнуло. Сабля прозвенела об пол — раз, другой — и легла у порога, кривая, тёмная, отслужившая. А конец посоха уже стоял у сотникова горла — не давил, не грозил: просто стоял, как стоит засов.

Изба помолчала. Капало с лавки молоко.

— Уходи, — сказал молодой так же тихо, как всё говорил.
— И дороги сюда забудь.

Жёлтые волчьи глаза глядели на него снизу вверх — долго, внимательно, не мигая. Сотник не просил и не грозил: он запоминал. Лицо, голос, посох — по-волчьи запоминал, навсегда. Потом поднялся, придерживая повисшую руку, вывалился в дверь, в притоптанную спелую рожь, свистнул — коротко, в два пальца, — и гнедой вынес его прочь.

А следом, будто по тому же свисту, стала отливать от деревни вся чёрная волна. Набег любит сонных — а деревня проснулась зубастой: у околицы её зубы стояли до сих пор, чёрные с белым вперемешку, и ложиться под них охотников больше не было.

Молодой поднял с полу рядом, укрыл им у стены тех, ко-

го укрыть было уже ничем нельзя, и повернулся к мальчишкам. Санька всё стоял с ухватом; ухват теперь ходил ходуном вместе с руками.

— На меня глядите, — сказал молодой тихо. — Оба. Вот так. Дышите со мной.

И столько было в его глазах серой тихой воды, что дышать и вправду стало можно.

* * *

Хоронили всем миром, на другой день, на пригорке над озером, — и отца с матерью, и деда Матвея, и старшего из чёрных гостей, и всех, кого не добудилась та заря. Столько крестов разом Заозерье не ставило ещё никогда. Жать в тот день не вышел никто: заместо жатвы был жальник, и первый сноп того года так и остался в поле несжатым.

Андрейка на погосте не плакал, как плачут дети. Он запел — само у него запелось, тонко, высоко, как голоса по покойнику старые бабки, только чище и страшнее: про красное утро, про рыжих петухов, про то, что мамка хлеб ставила, а вынимать некому. И вся деревня, что до того держалась, заплакала с его песни в один голос. А Санька не плакал и не пел. Он молчал. Он молчал так, что слышно было.

Молодой отыскал обоих у свежих крестов и присел перед ними на корточки, чтобы глаза были вровень.

— Не плачь, дитя: слезами землю не подымешь, — сказал он Андрейке, и голос его был тих, как всегда, а слышен весь. — И ты, молчун, не молчи так: молчанием её тоже не поды-

мешь. Пойдёмте со мной. Научу вас, как за родную кровь стоять — чтоб ни один враг более над сиротской долей не смеялся.

Санька поглядел на него долго — по-взрослому, снизу вверх и всё же вровень. Потом отошёл к порогу родной избы, поднял с земли кривую саблю — она была ему велика, тяжела, не по руке — и принёс, волоча остриём по земле борозду.

— Брошу в озеро, — сказал он. Голос у него был сухой, как жнивье.

— Нет, — сказал молодой и покачал головой. — Носи. Только уговор: не для мести носи, а для памяти. Мечь — она как этот клинок: кривая. А память — прямая. Понесёшь?

Санька кивнул. И над лбом его, где вчера ещё было русо, светлела теперь узкая прядь — белая, будто мукой от жёрнова присыпало.

Тут же, у крестов, переминался с ноги на ногу Алексашка, а при нём — Полкан, тощий, подпалённый, с обгорелым ухом. Идти Алексашке было некуда, и он это знал, и все это знали.

— А нас... — начал он и не закончил.

— Идём, — сказал молодой прежде, чем договорено было. — Вода тебя знает.

* * *

Уходили под вечер, на полдень, гуськом по меже: впереди шестеро в чёрном со скатками, за ними Санька с саблей че-

рез плечо, Андрейка с отцовой шапкой в руках, Алексашка с Полканом — а замыкал молодой, и на посохе его, у самой рукояти, темнел резаный знак: волна. Рожь — что уцелела — кланялась им вслед.

А озеро за их спинами укладывалось опять в свои берега — тихое, чистое, ни морщинки.

Вода уснула.

Глава пятая

ЧЁРНАЯ РИЗА

Тук. Тук-тук.

Только теперь это был не ночной стук в окно и не сполох беды. Это пел в глухом лесу топор.

Шли они от Заозерья долго — сперва межами, потом просёлками, потом и вовсе без дорог, всё на полдень да на восход, — и лето за ту дорогу истлело, как истлевает костёр: август дожёг себя дотла, и лес встретил их уже в золоте. Куда шли — знал один молодой. Он не искал села побогаче и обители поуक्रमнее; он слушал. Станет у ручья — слушает. Подыметса на холм — слушает. И качнёт головой: не то.

А на холме Маковце, где лес стоял так густо, что и ветер продирался сквозь него шёпотом, он остановился и долго стоял, закрыв глаза.

— Здесь, — сказал наконец.

— А чего здесь-то? — не утерпел Алексашка. — Тихо, как в ухе.

— То-то и оно, — сказал молодой. — В тихом месте вода говорит. А в шумном — и колокола не слышать.

И верно: под холмом, в овражке, из-под серого камня бежал родник — малый, с ладонь, а живой и звонкий. Молодой напилса из него первым, поклонился воде — а после вырезал ножом на старом дубу над оврагом знак: волну. Ту самую,

что на посохе: воду бегучую, три гребешка.

С того дуба и пошла обитель.

Рубили кельи всю осень. Молодой плотничал так, что поглядеть приходили бы за сто вёрст — кабы знал кто про этот холм: топор в его руках не рубил, а пел, и брёвна ложились в паз с первого раза, как слова в хорошую песню. Шестеро чёрных братьев работали молча и споро; мальчишки таскали мох да щепу; Полкан гонял по холму белок — для порядку.

— А молиться когда ж? — спросил как-то Алексашка, глядя, как молодой тешет венец. — Утром молились, а весь день — топором да топором.

— А ты думал, я что делаю? — сказал молодой, не разгибаясь. — Иные молитвы, малый, топором читаются.

К первым холодам стояли на холме три кельи да часовенка — малая, в шесть венцов, а тёплая, как рукавица. Пахло в ней свежей смолой, и смола на брёвнах выступала капельками — янтарными, светлыми: лес плакал по-хорошему, по-строительному.

Медведь пришёл ночью, в самое глухое время.

Сперва был звук: хрустнуло в овраге — тяжело, не по-заячьи. Потом задышало за стеной — большое, ровное, в два человеческих дыхания одно. Потом стена — добрая, из свежих брёвен стена — закрипела: об неё чесались.

Полкан забился под лавку и оттуда храбро зарычал. Андрейка сел на постели белее рубахи. А Санька — Санька уже стоял у стены, и в руках его была кривая сабля, снятая с гвоз-

дя.

— Погоди-ка, — сказал молодой и опустил его руку ладонью — мягко, как задувают свечу. — Не всякий, кто в темноте дышит, — враг. Иной — гость.

Он взял с полки последний ломоть — хлеба у них к той поре оставалось на донышке — и вышел в ночь. Мальчишки прилипли к оконцу, дыша через раз.

У крыльца, в звёздном свете, сидел медведь. Большой, как копна, тощий с осени, — и глядел на молодого снизу вверх, по-собачьи склонив башку. Молодой протянул ему ломоть на раскрытой ладони.

— Ешь, гость. Чем богаты.

Медведь понюхал, взял хлеб с ладони — бережно, губами, как лошадь берёт, — съел и вздохнул. И остался.

— Он же нас съест! — шёпотом закричал Алексашка, когда молодой воротился. — Он же зверь!

— Не съест, — сказал молодой. — Он голодный, а голодного кормят. Запомни, малый: накормленный сосед лучше воёванного.

Наутро медведь топал вокруг келий хозяином — проверял, всё ли ладно. Топал он знатно, на весь холм.

— Ишь, топает... — сказал Алексашка уважительно. — Топ да топ. Потап и есть.

Так и стал Потап. Хлеба ему выносили теперь каждый день — а он за то стерёг холм лучше всякого тына, и волчьи стаи первую пору обходили Маковец стороной.

По первому снегу пришёл на холм старый игумен Митрофан — из дальней пустыни, седенький, лёгкий, как первый снег и есть. Три дня он жил в обители, глядел, как живут; на четвёртый затеплили в часовенке все свечи, какие были.

Что там было — мальчишек не пустили, малы ещё. Слышали только пение — долгое, строгое, от которого щипало в носу; а после увидали: вышел из часовни их молодой в новой чёрной ризе, и лицо у него было такое, будто он издалека вернулся. Будто шёл-шёл всю жизнь — и дошёл.

— А... как звать-то тебя теперь? — спросил Андрейка робко.

— Мир звал Варфоломеем, — сказал молодой, и мальчишки впервые услышали это имя. — Ныне — Сергей. Имя переменял, а сердце то же: людей беречь.

Санька повторил про себя оба имени — как в ларец убрал. Сергей. Отец Сергей.

А по весне на холм стали приходить люди. Кто с горем — тех Сергей выслушивал у родника, и уходили они легче, чем шли. Кто с силой да без места — те оставались: рубили себе кельи, вставляли в братний ряд. И для каждого у Сергия находилось дело по руке: кому топор, кому книга, кому — тихая наука, про которую в миру не рассказывали.

Мальчишек он до железа не допускал — и не серчать на то было нельзя, и серчали.

— Когда ж за сабли, отче? — не выдержал раз Санька.

Сабля его так и висела на стене кельи, и он, проходя, всякий раз на неё глядел.

— Рано, — сказал Сергей, не оборачиваясь. Он всегда видел, кто куда глядит, хоть бы и спиной стоял. — Сперва — ведро.

И была им наука: носить от родника в гору полные вёдра — да так, чтобы воду не разбудить: «полное ведро неси, как спящего брата». Стоять на бревне через овраг — сперва просто стоять, после ходить, после ходить с ведром, а после — с закрытыми глазами: «ноги пусть глядят, у них своих глаз двадцать». Сидеть у родника тихо-тихо, покуда белка на плечо не сядет: «вот когда лес тебя за своего примет — тогда и разговор начнём». Вместо заморского чая грелись сбитнем, и Алексашка божился, что от сбитня наука идёт вдвое.

А у ручья, где намерзал по краям первый ледок, Сергей показал им камышину: мороз давил её, гнул к самой воде — а она кланялась и вставала, кланялась и вставала.

— Гляди, Санька: дуб вон треснул, а тростинка живёт. Будь тростинкой, покуда буря. Дубом успеешь.

* * *

А в самую глухую пору той первой зимы обитель испытали.

Сергей с двумя братьями ушёл в дальнее село за мукой — и заночевать бы им день да вернуться, но упала метель, и не стало ни дорог, ни неба. На холме остались четверо братьев, трое мальчишек, Полкан да Потап, спавший свою медвежью

зиму в яме под елью.

Волки пришли на вторую ночь. Голод пригнал их: вой встал сперва далеко, по-за оврагом, потом ближе, потом со всех сторон разом — тонкий, злой, на многие голоса. Полкан оцетинился весь и рычал, не переводя духу. Меж чёрных стволов, там, куда не доставал отсвет, зажглись и поплыли парные зелёные огоньки.

И тогда сделалось в обители то, чему Сергей цену знал наперёд, а мальчишки узнали в ту ночь.

Санька взял у сеней рогатину — ту, что тесал по дедовой памяти, — и встал у дверей, где щель широка. Стоял, как отец стоял, как дед Матвей стоял: молча, крепко, всю ночь — и рука не дрогнула ни разу. Андрейка держал у оконца огонь — лучину за лучиной, ровно, не давая тьме сомкнуться, — и пел. Само у него запелось, как на погосте пелось, только теперь не плач, а другое: колыбельную, мамкину, тихую. Голос его не дрожал — дыхание держало голос, как учено. А Алексашка носился от стены к стене с колотушкой и бил в неё то тут, то там, то у ворот, то у клетки — так, что послушать со стороны, ходило по обители человек двадцать сторожей, и все злые.

К утру вой отодвинулся, поредел — и стих. Метель легла. А в полдень воротился Сергей с братьями и мукой — и первым делом обошёл холм кругом, читая снег, как книгу: вот тут ходили, вот тут сидели, вот отсюда глядели — а ближе следа нет.

— Бой был? — спросил он.

— Не было, отче, — сказал Санька.

— Был, — сказал Сергей. — Самый первый ваш. И выигран чисто: все живы — и вы, и они. Страх держать — вот первая ратная наука, а вы её за одну ночь прошли.

И поглядел на Санькину рогатину, на Андрейкины прогоревшие лучины, на Алексашкину колотушку — и ничего больше не сказал. А на завтра начал учить их по-настоящему.

А под снегом, под серебряным его одеялом, тёк себе с холма родник — малый, живой, неусыпный.

Вода дорогу знает.

Глава шестая

СТРЕЛА

Годы на Маковце текли, как родник под снегом: тихо, а без остановки.

Год за годом одевался лес в золото и ронял его, и заметал холм снегами, и опять сходил снег в овраги, — и не заметил никто, в какой из тех годов мальчишки перестали быть мальчишками. Санька перерос всех братьев в обители и раздался в плечах так, что в дверь кельи входил уже вполоборота; по бревну через овраг он ходил теперь с двумя вёдрами хоть в бурю — и вода в вёдрах спала. Андрейкин голос ломался-ломался, да и выломился в такой, что когда Андрейка пел за работой, братья бросали работу, а Потап вылезал из своей ямы и слушал, положив башку на лапы. А Алексашка выучился ходить по лесу так, что белки замечали его, лишь когда он их уже гладил, — и знал в округе каждую тропу, каждый брод и каждую сплетню на три села вперёд.

Выросла и обитель: встали кельи венцом вокруг часовни, поднялся тын, раскорчевали поле под рожь, завели пчельник — и мёд с него шёл такой, что пчёлам кланялись. В келье у Сергия переписывали книги; у родника всё так же выслушивалось людское горе; а тихая наука шла своим чередом, и до железа Сергей по-прежнему никого из троих не допускал. Сабля висела на стене. Санька глядел.

А на исходе того лета выехал на большую охоту молодой князь Дмитрий.

Был он из тех князей, про кого в народе говорят: этому бы соколом родиться, да родился с державой в руках. Молод — борода смоляная только-только завилась; в седле сидел как влитой; стрелял так, что старые сокольники прятали глаза от зависти. И была в нём в то утро злость — не на кого-нибудь, а на всё разом: на дань, что увезли по весне в Орду возами; на бояр, что с утра до ночи учат жить; на самую свою молодость, которой все попрекают. Такая злость ищет, обо что разбиться, — за тем и выдумана охота.

Выезжали затемно, по чину, как деда заповедали. Впереди — старый ловчий Ермолай, суровый, в буром суконном кафтане, с турьим рогом на серебряной перевязи: на лову ему и князь не указ, так исстари повелось. За ним — сокольники в зелёных кафтанах, и у каждого на кожаной рукавице дремлет птица под клубучком с алой кисточкой — дремлет и вздрагивает: снится ей высота. Следом псари ведут гончих-выжлецов на смычках — те уже голоса вполголоса, стонут от нетерпения; борзые-хорты идут молча, поджарые, как натянутые луки, и только дрожь ходит по их шелковистым бокам. Позади — стремянные с рогатинами и лёгкими сулицами, возки, заводные кони.

Сам князь ехал в червлёном охотничьем кафтане, в шапке с собольей опушкой; за спиной — тул со стрелами, и на каж-

дой стреле орлиное перо; у седла — лук в налучье да сабля в простых ножнах: на лову золото не носят. Утро стояло высокое, вымытое росой; восток наливался соком, как спелая брусника; и над всем поездом висел весёлый озноб — тот, что бывает только перед охотой да перед праздником.

А на княжьей рукавице сидел кречет Белыйш — белый, как его имя, с далёкой Печоры: из тех птиц, за которых дают табун коней и ещё кланяются. Последний он был у князя. Трёх его белых братьев по весне увезли с данью в Орду. Про то на дворе вслух не поминали.

На заречном болотце подняли уток. Ермолай глянул: пора. Князь снял с кречета клобучок — и Белыйш увидел небо. Всё сразу: и высоту, и ветер, и утиный караван над плёсом. Он оттолкнулся от рукавицы так, что она загудела, и пошёл вверх кругами, винтом, всё выше — покуда не стал в подоблачье белой искрой. И замер. И всё поле замерло с ним, задрав головы: псари, стремянные, кони. Даже выжлецы смолкли. Одни утки шли над плёсом низко, тяжело — не чуя над собой судьбы.

И искра сложила крылья.

Пал он молнией — белой, живой. Свистнуло, будто небо распороли по шву; воздух ахнул — удар! — и над плёсом закружился пух, метель посреди лета. Белыйш описал круг почёта — знал, красавец, что глядят, — и вернулся на рукавицу, весь ещё дрожа от собственной молнии. И князь засмеялся — просто, как мальчишка. И злость его утренняя вы-

шла с тем смехом но не вся.

А после полудня набросили выжлецов на олений след — свежий, ночной. Сперва было тихо. Потом в острову тонко, с плачем, завёл один; подхватил другой, третий, залился весь смычок — и заварилась по лесу музыка гона, какой ни на каких гусях не сыграть: то соберётся в один голос, то рассыплется на двадцать, то плачет, то торжествует. И у всякого, кто её слышал, сердце подымалось и летело следом.

Князь скакал краем острова, пригнувшись к самой гриве. Мир нёсся навстречу и мимо: мелькали первые золотые берёзы, хлестал по плечам орешник, земля летела из под копыт; слёзы от ветра стояли в глазах, и оттого весь лес плыл и сиял, как сквозь слюдяное оконце. Конь стлался, счастливый не меньше седока; позади пел рог Ермолая; где-то слева, невидимый, ломил чащей рогач. Кровь пела в лад гону. Не было на свете ни дани, ни Орды, ни бояр с поученьями — было утро, конь, гон и весь белый свет разом, и свет тот был молод, как сам князь. Кто на лову не бывал — тому не понять; а кто бывал — тот до седых волос помнит.

Олень вёл через весь остров, через овражки, через старую гарь — и вывел к глухому лесу, что синел за болотцем стеной. И гон оборвался. Разом, весь — как ножом отрезало. Выжлецы заматались у опушки, ткнулись носами в траву, заскулили — и сели, виновато оглядываясь: следа не стало. Будто зверь с земли на небо ступил. Хорты кружили пустыми кругами. Ермолай подъехал, поглядел на опушку из-под

седой брови — и снял шапку.

— Всё, княже. Дальше лова нет.

— Это отчего же?

— Лес не ловчий. Зверь в него уходит, как в церковь, и след за ним Бог стирает. Деда тут вабить не смели — и нам не велели. Поворачивай, княже.

Но у князя от оборванного гона гудело внутри: отнятая радость злее всякой обиды. Он махнул Ермолаю — становись табором — и с двумя стремянными поехал шагом вдоль опушки. Остыть.

Не остылось.

А придержал он коня оттого, что на опушку, из-под тёмных ветвей, вышла олениха.

Она вышла не таясь — шагом, как выходит хозяйка на своё крыльцо. В сочных травах у опушки стояла она по колено, рыжая, гладкая, и свет играл на её боках; а следом выкатился оленёнок — тонконогий, в белых пятнышках, что первый снег на рябине. Ткнулся матери в бок и стал сосать, подрагивая хвостиком.

Стрела легла на тетиву сама — рука сделала всё без хозяйина, как приучена была. Князь повёл луком, выбирая, — и тут олениха подняла голову.

И поглядела ему прямо в глаза.

Не шарахнулась, не понесла оленёнка в чащу — стояла и глядела через болотце, через полсотни шагов, прямо в княжьи глаза, тёмным своим, глубоким, безо всякого страха гла-

зом. Так глядит не добыча. Так глядит тот, кто у себя дома.

У князя дрогнуло что-то под сердцем — и оттого, что дрогнуло, злость взяла верх: ах так?

— Княже... — Старший стремянный тронул коня ближе; голос его был тих, как в церкви. — Матку при дитяти не бьют. Исстари не бьют.

— А меня спросили, — сказал князь, не спуская глаз со зверя, — когда моих кречетов в Орду увозили? То-то. Исстари...

Тетива скрипнула, дошла до уха.

И он спустил.

Стрела пошла низко, хищно, по-соколиному — князь бил без промаха и знал, куда бьёт.

Стрела стала в воздухе.

Не упала, не свернула, не ушла в землю — стала, в пяди от рыжей оленьей груди, и дрожала, дожёвывая свой полёт. Держала её человечесья рука.

А откуда взялся сам человек — того не видел никто. Не подошёл, не выбежал, не поднялся из травы: мгновение назад опушка стояла пустая — князь поклясться мог, что пустая, до последней былинки. И вот — стоял. Меж стрелой и оленихой, в чёрном одеянии, худой, неказистый: в толпе встретишь — не оглянешься. И стоял он так спокойно, будто век тут стоял, — будто не он явился на опушку, а опушка объявилась вокруг него.

Олениха не побежала и тут. Повела ухом, поглядела на

человека в чёрном — как на своего поглядела — и пошла с оленёнком вдоль опушки, шагом, не спеша, будто ничего над её жизнью только что не пролетало.

— Ты... — У князя сел голос; он толкнул коня вперёд, через болотце. — Кто смеет княжью стрелу останавливать?!

— Тот, кому всякая жизнь — что оленья, что людская — равно дорога, княже, — сказал человек тихо, а слышно было через всё болотце, до последней буковки. — Опустил лук: не всё, что бежит, — добыча.

— Да ты знаешь ли, на кого?... — задохнулся князь.

— Знаю, — сказал человек. — Оттого и говорю: княже. Земле твоей защитник надобен, а не охотник. Захочешь понять — лес дорогу укажет.

Тут подоспели стремянные, и старший, опомнясь, вскинул рог. Рог заревел; из-за перелеска, гремя, вынеслась погоня — десяток гридней в бронях, засидевшихся без дела за дурной гон.

— Взять чернеца! — крикнул старший. — Целого взять, не увечить!

А дальше сделалось то, о чём гридни после рассказывали всяк своё, и все ввали, потому что правде никто бы не поверил.

Человек в чёрном не побежал. Он пошёл — в лес, шагом, как по своему двору. Но как ни гнали кони — расстояние не менялось: десять шагов было до него на опушке, десять осталось в чаще. Ветви, что он отводил рукой, возвращались

точно в срок — не по глазам хлестнуть, а перед мордой коня, и кони вставали свечой. Первый гридень бросил аркан — бросил ловко, по-степному выучен был: аркан обнял еловый пень, а пень тот стоял справа, где человека отродясь не было. Двое зашли клещами, с двух сторон разом, — и съехались нос к носу, а меж ними было пусто. Овраг конные брали в обход, надеясь отрезать, — а он перешёл овраг по лежащему бревну, не сбавив шагу, как по мосту царскому.

А у ручья следы кончились.

Просто кончились: вот шёл человек — трава примята, вот ступил на песок — два следа босых лаптей... и всё, и ручей журчит, и лес стоит, и никого. Растворился, как соль в воде.

— Леший, — выдохнул молодой гридень и перекрестился.

— Не леший, — сказал старший, слезая с коня. — Хуже, брат. Лихо, нечистая сила.

На песке у самой воды было начерчено — посохом, видать: волна. Вода бегучая, три гребешка. Старший нагнулся разглядеть — а ручей плеснул, слизнул рисунок и унёс. Был знак — и нет знака.

Князь сидел в седле у ручья и молчал. Злость его вся вышла — как воду из ведра вылили; а на месте злости, на пустом, вставало другое, чему он и имени пока не знал. Стрелу его — лучшую, с орлиным пером — человек в чёрном унёс с собою, и первый раз в жизни князю Дмитрию хотелось не добыть.

Понять хотелось.

— Сыскать, — сказал он наконец, тихо. — Не для казни.
Для разговора.

Глава седьмая

КНЯЗЬ ПРИХОДИТ К СТАРЦУ

Три дня искали княжьи люди дорогу в тот лес — и три дня лес их водил.

Тропы заворачивали кольцом и выводили туда же, откуда вошли. Просеки упирались в бурелом. Болотца, где вчера пеший проходил посуху, нынче чавкали под копытами и не пускали. Ермолай ехать отказался наотрез — «в тот лес, княже, вабить нельзя, и войском ломиться нельзя, сам к тебе выйдет, коли захочет», — и князь злился на старика, а в глубине души знал: прав старик.

А на четвёртое утро, на тропе, где вчера никакой тропы не было, сидел на пеньке рыжий вихрастый парень, грыз орехи и никуда не спешил. У ног его лежал лохматый пёс с обгорелым ухом.

— Заплутали, гости? — спросил парень весело, будто с утра тут для того и сидел. — А вас ведь заждались уже. Хлебы вторые пекут.

— Кто заждался? — насторожился князь. — Откуда про нас ведомо?

— Сорока на хвосте принесла, — сказал парень, ссыпая орехи за пазуху. — У нас сороки грамотные. Езжай за мной, княже, да коней придержи: тут корни.

Лес, что три дня стоял стеной, расступался перед рыжим,

как вода перед лодкой. И часу не прошло — открылся холм: тын из вековых брёвен, кельи венцом вокруг малой часовни, прямой мирный дым над кровлями, запах свежего хлеба на весь лес. На старом дубу у ворот темнел резанный знак: волна, три гребешка. А у самых ворот, привалившись к тыну, спал медведь — большой, как копна.

Гридни разом взялись за рукояти. Медведь открыл один глаз, поглядел на десяток вооружённых конных — и зевнул во всю пасть, с подвывом. И спал дальше.

— Не замай его, — сказал рыжий. — Это Потап. Он у нас заместо ворот: кого надо — пустит.

А в воротах уже стоял тот самый человек. Худой, невеликий, в чёрном, — в толпе встретишь, не оглянешься. Он поклонился князю не низко и не гордо — ровно, как равному, — и протянул на раскрытой ладони стрелу. Ту самую, с орлиным пером.

— Твоё, княже. У нас чужого не держат.

Князь взял стрелу и почувал, что уши у него горят, как у мальчишки, пойманного в чужом саду. Сердился он на это полдороги — а тут вдруг отпустило: сам не понял отчего. Может, от хлебного духа. Может, оттого, что здесь его ждали — не боялись, не льстили, а просто ждали, как ждут гостя.

— Как звать тебя, отче? — спросил князь.

— Сергием кличут.

— А наука твоя... откуда она, Сергей? Такой на Руси не видано.

— Отчего ж не видано, — сказал Сергей, и в тихих глазах его прошла усмешка, как рябь по воде. — Наука ходит по свету дальними дорогами, а корни у неё, княже, всегда здешние. Про то долго сказывать. Ты ведь не за сказкой ехал — ты поглядеть хотел.

— Хотел, — сознался князь.

— Ну так и поглядим друг на друга, — сказал Сергей. — Твои удаль покажут, наши — свою. Только уговор: у нас до крови не играют. У нас и без крови весело.

* * *

На широком дворе, меж келий и поленниц, стало в тот день тесно от народа: княжьи гридни — кольчуги сняли, остались в цветных рубахах — да чёрное братство впере-мешку. Посреди двора расчистили круг, посыпали песочком. Потап перебрался поближе и сел, как боярин в первом ряду.

Первым вышел от князя Гюрята — первый силач дружины, шея как у тура, ладони как лопаты; сказывали, подковы он ломал со скуки. От братства напротив встал Санька — молодой, русский, с белой прядью надо лбом. Гюрята поглядел на него сверху вниз, добродушно, как глядят на телёнка.

— Ты, что ль, боец? Не зашибить бы.

— Не зашибёшь, — сказал Санька. — Слово — олово.

Сошлись. Ладонь легла в ладонь — и по двору прошёл гул, будто жёрнов о жёрнов стукнули. Взялись на поясах, почестному, и пошли по кругу — грузно, вминая песок; двор затаил дух, один Потап сопел, как кузнечный мех.

Гюрята дёрнул — у иного бы душа вон: Санька качнулся, как камышина, и устоял. Гюрята сгрёб его в охапку и оторвал от земли вовсе — двор ахнул: конец! А Санька не забился, не напрягся — обвис, потёк, как вода из горсти, и ноги сами нашли землю. И в тот же миг, не дав горе вдохнуть, он повернулся весь разом, в один мах, — и гора, потеряв под собой землю, перелетела через его бедро и легла на песочек, во весь свой немалый рост. Песок поднялся облаком. Двор охнул — и грохнул. Потап одобрительно рывкнул.

Гюрята сел, помотал головой, поглядел на небо, на Саньку, опять на небо. И захохотал — громово, от души. Встал и облапил Саньку так, что у того рёбра пискнули:

— Ну, брат!.. Как звать тебя, чудо?

— Санькой... — сказал Санька, и двор грохнул со смеху.

— У нас его кличут Пересветом, — сказал Сергей с крыльца. — До света встаёт, всех пересвечивает. Так и запомни, Гюрята: Пересвет.

Вторым от князя вышел Твердыта-мечник — лучший клинок дружины, быстрый, самолюбивый. Ему поднесли потешный деревянный меч — он и брать не стал, поморщился: деревом, мол, отродясь не бился.

— И не бейся, — сказал с крыльца Сергей. — Возьми свою. Жердь не обидится.

Двор загудел: сабля против палки — виданное ли дело? А против Твердыты уже стоял Андрейка с простой длинной жердью, с ослопом, — и вышел он не как на бой, а как на

пляску: пристукнул, прищёлкнул да ещё и запел.

Первая сшибка была — как гроза по крыше. Сабля сверкнула трижды в один вздох: сверху, сбоку, снизу. И трижды пропела впустую: жердь под удар не подставлялась — она его провожала. Наклонно, вскользь, с поклоном — и сабля съезжала по дереву, как санки с горки, и рубила воздух да песок.

— Славный удар! — кричал Андрейка, отпрыгивая. — А этот ещё славней! А этот куда ж ты, дяденька, — соседям в огород?

Твердята был по правде хорош: вился вокруг жерди, как оса, менял руку, заходил снизу — двор жмурился и ахал. Да на всякую его молнию находился у жерди свой гром: тычок пяткой ослопа в плечо — легонько, будто дверь притворил; подсечка — и мечник садился в песок, сам не поняв как; а меж схватками — куплет, складный да обидный, про то, как комар медведя воевал. Раз Андрейка нырнул под верёвку сушила — Твердята рубанул сплеча, перерубил верёвку, и мокрая рубаха, слетев, накрыла его с головой, как невод. Двор лёг со смеха. Покуда мечник выпутывался, Андрейка допел куплет и раскланялся на все четыре стороны.

А кончилось по-честному, одним махом. Твердята собрался весь и пошёл в последний, самый злой выпад — жердь встретила клинок, скользнула по нему винтом, обвинила, как хмель обвивает тын, — и сабля, вывернувшись из руки, взлетела над двором, перевернулась в воздухе... и легла рукоятью в подставленную Андрейкину ладонь. Двор ох-

нул. А Андрейка поклонился и подал её хозяину — рукоятку вперёд, как подобает.

— Знатный клинок. И хозяину под стать: ты по правде хорош, Твердята, я таких быстрых не видал.

— Да что ж ты... палкой! — только и выдохнул Твердята, принимая саблю, красный, как его рубаха. — Меня — палкой!..

— Не палкой, а ослопом, — поправил Андрейка с достоинством.

И Твердята, отходчивый, как все быстрые люди, вдруг усмехнулся — и подал ему руку.

А третьим от князя вышел Нечай — десятник, ловкач и хитрован, каких в дружине один на сто: жилистый, вертлявый, глаза быстрые. Против него братство выставило Алексашку. Тот вышел в круг, поклонился на все четыре стороны, а шапку снял и держал в руке — ни дать ни взять скоморох на ярмарке.

— И как биться станем, огонёк? — прищурился Нечай.

— А я драться не мастер, дяденька, — сказал Алексашка смиренно. — Ты меня только тронь разок — и твоя победа. Пальцем тронь. Хоть шапку сбей.

Двор хмыкнул: делов-то. Хмыкнул и Нечай — и метнулся, как хорёк: хватъ! А там, где был Алексашка, висела в воздухе одна шапка; сам он стоял уже сзади и обмахивал Нечая ладошками, как боярина в бане веником: не угодно ли поддать?

И началось. Нечай кидался — Алексашка перетекал.

Нечай ловил — ловил воздух. Нечай погнал его вдоль огорода — Алексашка перемахнул через гусиный выводок, что пасся у тына, а Нечай влетел в самую его середину. И тут ему стало не до Алексашки: гусак — воин почище иного ордынца — вцепился ему в штанину, гусыни поднялись крылом и шипом, и лучший ловкач дружины отступал от птичьего войска задом наперёд, отмахиваясь обеими руками, под общий гогот двора. Опомнясь, он загнал-таки беглеца в угол, меж поленницей и корытом, и прыгнул, растопырившись, как на курицу: хватить!! В горсти оказалась шапка. Сам он — в корыте. А вода из корыта — на нём, вся до капельки. Алексашка тем часом сидел уже на поленнице и сокрушался сверху дурным голосом: ай, беда-то, дяденька, водичка студёная, не застудился бы ты, роди-имый...

— Да что ж ты вертишься, юла базарная!! — взревел Нечай, мокрый, страшный и смешной разом.

И — со злости, себя не помня — выхватил саблю. Настоящую, боевую. Двор ахнул; гридни привстали; князь подался вперёд. Один Сергей на крыльце не двинулся — только глаза его сузились, как у человека, что стоит у самой воды, готовый шагнуть.

А Алексашка не испугался — заюродствовал пуще прежнего: кланялся в пояс, крестился размашисто, причитал: ой, смертынька моя пришла, ой, шапку-то кому отпишу, сиротскую!.. — и при том утекал от клинка так, будто клинок был не быстрее осенней мухи. Сабля свистела — и рубила пустое.

Раз — снесла крапиву у тына (из-за тына тут же: «спаси-ибо, дяденька! давно жгётся, окаянная!»). Два — смахнула жердину, где сушились кринки, и кринки брызнули черепками («посуду-то за что, дяденька?! посуда-то каким боком?!»). А на три — вошла с маху в берёзовое полено и стала намертво. Нечай дёргал её, упершись ногой, сопя и богатырствуя, — а Алексашка стоял рядом, заглядывал снизу и советовал сердобольно: ты с вывертом тyani, дяденька, с вывертом да с молитовкой...

Сабля так и осталась в полене. Нечай погнался ещё сколько-то с голыми руками — всё медленней, всё тяжелее, хватая ртом воздух, как рыба, — и наконец стал посреди круга. Качнулся. Сел. А после и лёг — на спину, руки раскинув, глядя в высокое небо. Над двором повисла тишина: за весь бой Алексашка не ударил ни разу — и его не коснулись ни разу.

— По... беда... твоя... — выговорил Нечай с земли.

— Что ты, дяденька, — сказал Алексашка, присаживаясь рядом на корточки и надевая наконец шапку. — Победа твоя: эвон ты меня как загонял, я аж взопрел. — И крикнул через плечо: — Квасу дяденьке! Заслужил!

И поднёс ковш собственноручно. Нечай пил, глядел на него поверх ковша — и вдруг засмеялся, лёжа, слабо и счастливо: понял человек, что его обыграли вчистую, пальцем не тронув, и что злиться тут не на что — можно только шапку снять. Двор хохотал так, что с берёз листва посыпалась.

Громче всех, обнявшись, хохотали Гюрята с Пересветом. Потап ворчал: разбудили, боярина, на самом интересном сне.

* * *

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.